

Глава 10. Приемы языка травмы

1. СНИЖЕНИЕ СТАТУСА

Низкий статус военнопленного приводил к тому, что, повествуя о травматическом прошлом, человек начинал ассоциировать себя с представителями еще более низких социальных групп в родной культуре своего времени или в историческом прошлом. Не ограничиваясь дискриминируемыми группами, пленные часто сравнивали свое положение с положением животных — с тягловым рабочим скотом, порой с дикими животными, у которых они таскали желуди из норы, а порой с пролетающими в небе птицами.

Сравнение с неполноправными согражданами.

Жизнь вопреки собственной воле, по необсуждаемым законам, в языке травмы вызывала ассоциации с теми, кто всегда так жил и живет, воспринимая установленные другими правила игры как норму: с женщинами и детьми. Такие сравнения встречаются у многих авторов в разных формах: в намеках, оговорках и в прямых вербальных сравнениях, рисунках. Как мы знаем, унижение, связанное с телесностью, запоминается надолго, и тем более, если оно имеет дело с интимными зонами человеческого тела. Такой унижительной была процедура дезинфекции, которая включала бритье волос в паху. На рис. 89 К. Сато «После дезинфекции» видно, как пленные подтрунивают друг над другом, сравнивая себя с девочками.



Пораженная мужественность в воспоминаниях бывших японских военнопленных оборачивается сравнениями с женщиной, для патриархатной японской культу-

ры существом более низкого, чем мужчина, статуса. Бесправное, слабое существо в лагере будто уже и не мужчина. Как написал в стихотворении К. Сато,

Шутя, врач сравнил
мою рану с п...й,

а медсестры, смеясь, его укоряли [ПМА. Интервью с Сато. Январь 2007].

Сравнение с угнетенными социальными группами.

Я тоже высказал свое мнение. Четвертый год проходит после окончания войны. А только СССР не отпускает пленных. Мы **рабы** XX в. [Оути: 138].

Согласно теории исторического материализма стадия рабовладения была первой антагонистической формацией в истории человечества. Признаться, что принудительный массовый труд близок рабскому, советская власть не могла. Это обвинение, сказанное вслепую, ибо пленник не знал всех масштабов ГУЛАГа, оказалось как нельзя точным. Раб, как и пленник, всегда отлучен от продуктов своего труда, он также не имеет своего голоса. В то же время рабовладельцы, покупавшие рабов за приличные деньги, дорожили своим живым имуществом, в то время как лагерное начальство несло ответственность только при больших списочных потерях.

Итиро Такесуги не просто сранивает японских пленных с рабами, но припоминает и былые времена, когда они сами использовали принудительный труд.

Я вспомнил китайцев, которых присылали к нам в отряд на принудительные работы в Маньчжурии. Тогда с физиономией хозяев-японцев не сходило спесивое выражение. И вот всего за год с небольшим от этой спеси не осталось следа. Теперь передо мной были лица рабов, и смотреть на это жалкое стадо моих сотоварищей было невыносимо [Такесуги Ч. 1: 90].

Сравнение с рабами приходило в голову и многим в ГУЛАГе. Как пишет Ж. Росси, даже сокращенное выражение «рабочая сила», ставшее термином «рабсила», неофициально многими в ГУЛАГе расшифровывалось как рабская сила. В связи с осуждением мировым общественным мнением рабского труда в СССР в 1950-х гг. термин «рабсила» был запрещен цензурой [Росси: 326]. Термин был запрещен, но не был запрещен рабский труд. Цинизм советской власти по отношению к военнопленным и заключенным в лагерях проявлялся и в формулировке **рабгужсила**, под которой подразумевалась совокупная рабочая сила заключенных и рабочего скота [Росси: 324]. На эту тему шутили и сами заключенные ГУЛАГа, на Соловках впряженных вместо лошадей людей называли ВРИДЛЮ — «временно исполняющие должность лошади» [Вайль: 94].

Такие ВРИДЛЮ встречались и в лагерях ГУПВИ, в отсутствие техники и тягловой силы люди становились гужевой силой. Воспоминание об использовании людей как гужевой силы встречается не раз.

Зимой мы работали на лесоповале. У нас **не было лошадей**, и **люди тянули** вырубленные деревья на саях **сами**. Многие погибли от этой тяжелой работы [Чернова: сайт].

Все работы рассчитаны на физическую силу человека. Мы — 30 человек — несли огромное бревно. В таких случаях мы говорили: **еще взяли** [Ватанабэ: 252].

Эти слова отсылают к песне бурлаков. Слова *еще взяли* многим известны по русской народной песне «Дубинушка» в исполнении Ф. Шаляпина. Пленные из-за

отсутствия технического оснащения, а также и по социальному статусу были близки российским бурлакам конца XIX в., когда в качестве тягловой силы использовались люди.

В случае с японскими пленными мы порой имеем дело с добровольными бурлаками, так как японская этика труда и общинная ответственность делали выполнение производственного задания для бригады важной задачей, ради которой можно стать и рабгужсилой. Перед нами свидетельство бывшего охранника, который спустя 40 лет рассказывает о японских пленниках в Елабуге.

Охранникам давали по 100–300 человек, и с ними мы ходили в Малый бор за дровами за пять километров от лагеря. Японские военнопленные были очень дисциплинированными, они впрягались в тележки по 20 человек, тянули веревки и так «вели» телегу по шоссе. При этом они всегда приговаривали. Десять из них говорили: «Ас-су, ас-су», а десять других отвечали: «Ото-сан, ото-сан». Таким образом они вели строй, везли телегу. В лесу они пилили сухостой, грузили его на телегу и везли обратно туда, где жили. А мы, как охранники, просто шли рядом и наблюдали за подчиненными [Сафина: сайт].

Другим показателем низкого статуса была принадлежность к **этнической группе**. Расовая теория милитаристской Японии, базируясь на традиционной идеологии превосходства народа Ямато, считала соседние народы «недостаточно цивилизованными» и потому второсортными. Приведенное ниже сравнение с китайцами для японцев того времени говорило об откровенном понижении статуса в своих собственных глазах из-за «презрительного и высокомерного отношения большинства японцев к современным им китайцам (не говоря уже о корейцах)» [Мещеряков 2012: 332].

Китайцы признавались японцами даже «генетически» неполноценными, хотя по внешнему виду не всегда можно отличить корейца, китайца от японца. Но среди военнопленных были укоренены этнические стереотипы, поэтому если в текстах встречаются упоминания о корейцах и китайцах, мы должны понимать оттенки, которые не проговаривались специально, но были фоновым знанием того времени.

Чтобы уничтожить вшей, поменяли одежду. Но пойдешь туда, опять с нами будут вши. Мы стали похожи на **пленных**. Стали похожи на **китайцев** [Ватанабэ: 227].

В этом сравнении с пленными также есть свой смысл. Не будучи сдавшимися солдатами в результате собственной слабости, Ё. Ватанабэ не признает себя пленным по статусу. *Мы стали похожи на **пленных***, значит, на тех ненастоящих солдат, что сдались на милость врага, что предпочли жалкую жизнь смелой смерти во имя императора, и потому победителям не за что их уважать.

Я быстро ел, но даже во время обеда я остаюсь голодным. Роске: Быстро кушай, работать надо, понимаешь, японский? Японский солдат: *Ой, холодно. Уже обед.* — *Мы стали как **сумасшедшие**. Мы стали как **живые трупы** — От дыма костра мы стали черными. Стали похожи **на негров**.* — *Я тоже хочу согреться. Очень холодно* [Ватанабэ: 263].

Отсылка к сумасшедшим вновь подчеркивает неполноценность психически больных людей в социальном мире, какая появилась и у японцев в условиях плена, их бесправие в тотальном институте — не в психиатрической клинике, но в лагере для военнопленных. Несмотря на внешне здоровый вид, военнопленные, как и психически больные, утратили свою субъектность, перестали быть полноценными людьми.

Живые трупы — сравнение с доходягами или, как их называли в нацистских концлагерях, «мусульманами». Это ориенталистское слово было выбрано для названия заключенных в последней стадии ослабления независимо от их вероисповедания, апатичных, с характерной шаркающей походкой. Заключенный превращался в «мусульманина» в том случае, если отбрасывал все чувства, все внутренние оговорки по отношению к собственным поступкам и приходил к состоянию, когда мог принять все, что угодно... [Беттельгейм: 27]. Мусульманин — предельный образ особого рода, образ, в котором не только такие категории, как достоинство и самоуважение, но даже и граница этического теряют всякий смысл. Мусульманин был помещен в особую область человеческого существования — просто отрицать его принадлежность к человеческому роду означало бы согласиться с вердиктом СС, повторить их жест, которым одновременно с отказом в помощи утверждалась также никчемность достоинства и самоуважения [Агамбен: 67].



Сравнение с неграми объяснимо тем, что спустя почти столетие после отмены рабства в США в 1865 г. афро-американцы все еще для многих белых американцев в середине XX в. оставались людьми второго сорта, пригодными только к физическому труду и не обладающими правами человека в полной мере.

Сравнение с животными бывало разным: аллегорическим, подсознательным, но и прямым. Бесправие в лагере уподобляло заключенных насекомым, которых так же много, как и заключенных, тех и других легко уничтожить. Одна гравюра К. Сато так и называется: **Клопы, вши и пленные**. Как отмечалось выше, наличие насекомых говорило об отсутствии человеческих условий жизни, иными словами, о скотских условиях (рис. 90).



На инсталляции Я. Казуки пленный, несущий груз, напоминает трудолюбивого муравья из анимационного фильма. Ассоциативный ряд здесь вновь связан с насекомыми.

После того как дожди прекратились, нам делали уколы **шприцами для лошадей**. Больно, скажу я вам. Первый раз такое испытал. На какое-то мгновение аж дыхание перехватило. Очень больно. «*Болезненные и совершенно не смешные уколы*» [Киути: сайт].

Лагерь — ежедневный ад. Советские надзиратели гоняют и кричат «давай-давай», «быстро-быстро». Пленные работают без перерыва и выполняют норму, как **лошади** или **коровы**. Когда они возвращаются домой, они как будто ползут [Хисанага: 58].

На рис. 91 С. Миязаки пленный похож скорее на гориллу, Кинг-Конга, снежного че-

ловека. Пленный как бы возвращен в дочеловеческое состояние, когда важнее всего физическая сила и стадные навыки.

Кинси Такэути напрямую сравнивает статус военнопленного и домашнего животного, которого держат на откорм, чтобы заколоть на праздник. Автор подписал так: *плохой скотный двор: свинья, лошадь и гусь — символические военнопленные. А пастух заснул* [Такэути:100]. Вслед за Т. Кинси сравнивает свой зависимый статус пленного с тягловыми лошадьми Ё. Ватанабэ.

Конюшня. За горой на площади мы рубили деревья, обрабатывали бревна, пилили и построили конюшню. Нам сказали, что прибудет 100 лошадей. Потом мы узнали, что их привезли для транспортировки леса. Они тоже такие же **пленные, как и мы** [Ватанабэ: 254].

Сравнение заключенного с лошадью — животным, с которым на лесоповале он тянул ту же лямку и тот же срок, приходило и к заключенным ГУЛАГа. В. Шаламов отмечал, что лошади лучше людей угадывают конец рабочего дня [Шаламов: 63].

Тактика подкорма, связанная с поисками дикорастущих плодов и устройством запасов в тайнике вне лагеря, также казалась пленным похожей на поведение животных перед зимой, о чем с иронией говорят они сами. Возможно, что в экстремальной ситуации в человеке просыпается глубинная этологическая программа, и животные инстинкты начинают работать сильнее.

Речка стала большой, и началось наводнение. Все всходы унесло, и наши надежды на урожай тоже. Кажется, этой зимой мы останемся здесь. Мы планировали запастись продуктами потихоньку, **как мыши** [Ватанабэ: 232].

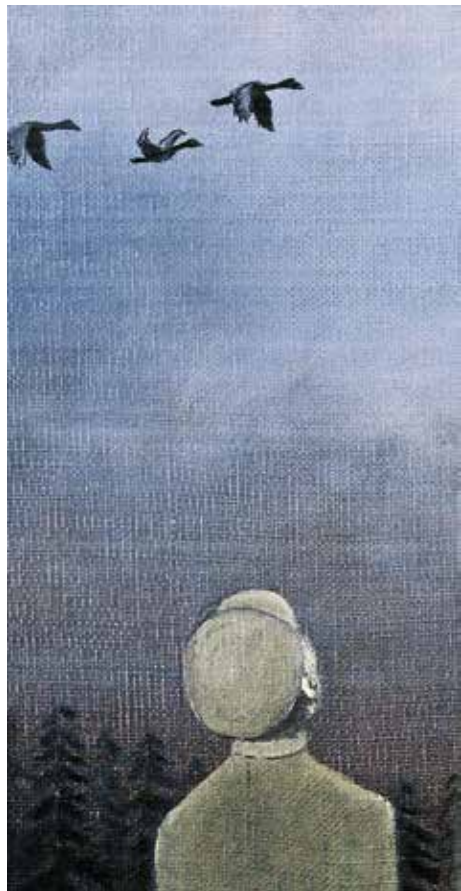
Военнопленные сравнивают себя с разными животными, чаще с домашними — теми, чьи повадки лучше знакомы, кто чаще попадает на глаза, кто порой ближе, чем человек — охранник и играет на одном поле с пленными, нередко становясь им то конкурентом, то товарищем.

Вкус одуванчиков похож на шпинат, но у нас не было соли и поэтому мы ели **как лошади** [Ватанабэ: 287].

Товарный вагон на 50 тонн. Нас загрузили как **свиней** [Ватанабэ: 344].

В отличие от домашних животных, полностью зависимых от своих хозяев, как и пленные — от лагерной администрации, птицы были существами другого сорта. Они могли преодолеть сотни километров поверх оград, колючей проволоки и государственных границ. Они были символом свободы.

В августе в Сибири появляются иней и первый снег. Наступает период долгой темной



зимы. В это время с раннего утра в небе над лагерем летят птицы стаями по три, по пять и больше — на восток. Все военнопленные молча смотрят на небо с завистью. Как бы я хотел иметь перья, крылья! Если бы я смог превратиться **в птицу** и улететь из этого ада в родную Японию! [Хисанага: 80] (рис. 92).

Однажды, заблудившись, прилетел к нам сапсан. Еще не взрослый, он заболел и не мог лететь. Мы накормили его и привязали веревкой за лапу. Наутро его не обнаружили, он улетел, великолепно порезав веревки. Я позавидовал ему, тому, что птица сама смогла освободиться. Мне стало грустно, что у меня **нет крыльев, чтобы улететь** [Казуки: 32].

Ассоциируя птицу с пленным и заменяя сапсана соколом, Казуки хотел придать больше силы заключенному, оставшемуся в лагерном прошлом, себе и своим товарищам.

Художники, вспоминая себя в плену, низводили пленных на уровень зоосуществ, отражая «регрессию по лестнице животного метаморфоза» (Подорога) или по лестнице Ламарка, спускаясь вниз в процессе расчеловечения.

2. ОБНАЖЕНИЕ



У многих художников мы встречаем обнаженные образы пленников (рис. 93). Одежда считалась в Японии, как и во всех культурах, одним из важнейших показателей статуса человека в социальной иерархии. Выражающая эту идею европейская военная форма укоренилась в Японии без всяких проблем, но лишенное знаков отличия нагое тело таких шансов не имело [Мещеряков 2012: 362]. Когда бывшие пленные рисуют себя голыми, они показывают и свою асоциальность, и потерю статуса мужчины и солдата, и незащищенность в прямом и переносном смысле. Обнаженные фигуры военнопленных проявляются в творчестве всех указанных художников, а также и в скульптурах Сина Миязаки.

Нагим стою перед женщиной-врачом.

Слушаю приговор:

Работоспособен ли я [Нисимура 2004а: 18].

3. ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ

Живописное полотно Сина Миязаки называется «Трагическая история» (рис. 94). Слабые существа, зависимые от голода и холода, с трудом выполняющие работу в лагере, не похожи на мужчин, не похожи на солдат. Пленные, еще недавно носившие военную форму и оружие, сейчас выглядят подростками, которым, может, 12 лет, может, 10 лет, а кому-то и меньше. Кажется, что среди них есть и девочки, по фигурам трудно определить, хотя мы знаем, что все они — бывшие солдаты. Изображение солдат как детей вполне отвечало доктрине тоталитарного государ-

ства как большой семьи, во главе которой стоял император, именовавший себя «отцом и матерью» в одном лице и называвший своих подданных «младенцами». Этот конструкт давал «законные» права государству, персонифицированному в фигуре императора, распоряжаться своими подданными [Мещеряков 2012: 406].

Свысока, как к подросткам, остановившимся в своем развитии, относились к японцам и европейцы, расистские взгляды которых отводили европейцам место взрослого человека (умом и телом), а азиатам — место в лучшем случае подростка, которого надо поучать. Генерал Д. Макартур был уверен, что «японцы... не вышли из детского возраста. Если англосаксу сейчас 45 лет, то японцу — всего 12» [Мещеряков 2009: 534]. Визуальным аргументом для сравнения был средний рост японского военнопленного, который согласно исследованиям советских антропологов был 159,8 см [Левин: 10].

Инфантилизация была одной из стратегий деперсонализации, применяемой в тотальном институте. Пленные были зависимы от лагерной администрации, как дети зависят от властного отца, такие практики как «оправка по команде или необходимость просить разрешения отойти в туалет с последующим отчетом превращали уважающего себя человека в беспомощного зависимого ребенка» [Беттельхейм: сайт]. Дети, изображенные на картине Миязаки, — это результат превращения пленных в детей в образах травматической памяти. Недаром многие вспоминали, как им было комфортно общаться с советскими детьми, сравнивали свои чувства на спортивных соревнованиях в лагере с ощущениями школьного детства.

Многие мероприятия «демократического движения» казались со стороны спектаклем. Так парад военнопленных 2 сентября 1948 г. в штрафном батальоне казался Такасуги «непроходимой глупостью и в то же время отдаленно напоминал детскую игру. Я высоко взметал ноги, широко размахивал руками и равнялся направо» [Такасуги Ч. 3: 114].

Не поддаваться насильственной инфантилизации было трудно, как мы видим, даже такой рассудительный человек, как Такасуги, не мог удержаться от соблазна почувствовать себя ребенком. Как упоминалось выше, 30-летнему Ватанабэ казалось в шахте, что он как будто в школьном коридоре, Ники Ёсио — что он в школьном летнем лагере. Мы уже встречали в альбомах благодарности, как пленный называет своих соратников *ребятами*: «У ребят большая охота есть. Они восклицают: “Как вкусно!” и “Ой как вкусно!”» [Ф. 4/п. Оп. 30я. Д. 19. Л. 97].

Вести себя по-детски могло импонировать пленникам, ведь дети не несут ответственности за свои поступки.



4. ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ



В данной работе я использую не клиническое значение термина, говорящее о расщеплении личности, а иное, понимая под ним временную утрату человеком психологических и поведенческих особенностей, характеризующих его как личность.

В лагере по одному распорядку жили тысячи людей. Со временем усилиями администрации они сливались в одно «социальное тело, а у частей тела нет субъектности, одни только функции» [Герасимов: 4]. Люди вживались сначала в роль «малых детей при родителях» или «клеточек единого организма», и сложное социальное пространство обретало свойства «национального тела» [Герасимов: 406]. Почти все художники, изображая лагерь, показывают и процесс деперсонализации.

На карте «Са» (2) техническая бригада 339 идет рубить дерево сарана [Уэцухара «Са» (2)] (рис. 95). Ё. Уэцухара показывает деперсонализацию человека в лагере, лишая пленных лица. У них нет индивидуальности — вместо лиц номер бригады. Человек становится рабочей функцией для властей и начинает так себя чувствовать. Вместо совокупности разных людей мы видим биомассу, коллективное тело отряда номер 339. Нередко художники сравнивали себя и с множеством неодушевленных тел, например, таким знакомым продуктом как картофель.

Мы, как картофель, в самом низком трюме. Много другого груза. До палубы 15 м [Ватанабэ: 102].



Особенно удавалось показать деперсонализованное лагерное существование Сину Миязаки (рис. 96). Военнопленные в его картинах безликие, бестелесные, без-

гласные, бесправные. Снова язык травмы проявляет себя знаками отсутствия. На его живописном полотне «Пленные на пересылке» мы видим большую группу пленных и одного советского охранника. Никто из изображенных не смотрит прямо. Они опустили головы или только глаза или просто отвернулись. Никто из них не смотрит на зрителя, не говоря уже о прямом взгляде в глаза. Это неуверенные в себе люди, которые боятся охранника, боятся будущего, боятся посмотреть в глаза реальности.

Наконец, на его полотне «Спящий пленник» под одеждой мы не видим человека, там пустота (рис. 97). Как будто художник хочет сказать, что пленный бесплотен — это уже ничто, пустое место.

В коммеморативных практиках часто используется актуальный в современном искусстве номиналистский подход: на Мемориальной стене в Вашингтоне, на Мамаевом кургане в Волгограде высечены имена сотен погибших героев. Противоположное решение использует Син Миязаки, он показывает лица, которые помнит, но не называет имена (рис. 98). Его язык — визуальный, для него образы важнее имен. Незабываемые лица пленников встают стеной перед Миязаки, он так и назвал свою работу: «Стена. Незабываемые люди».

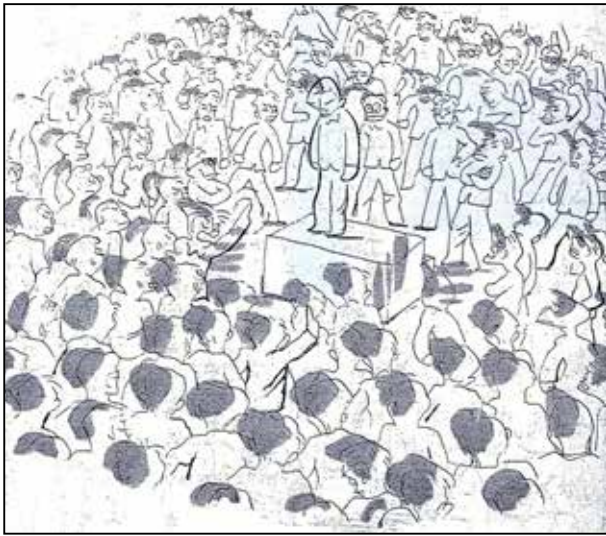


Несмотря на название работы, мы видим пустые места на стене и лица, у которых черты стертые или не проработаны. Так мы понимаем, что, может быть, опыт забываем, но не все люди, не все лица помнятся, что память — непрочная категория и что когда говорят про Незабываемое, на самом деле многое забывают, в первую очередь травматическое.

Я. Казуки показывает товарный вагон с беглецами, у которых не получилось бежать из плена (рис. 99). Их лица неотличимы друг от друга. Их везут, как щебень, как камни, как строительный материал. В этой работе в камнях, перевозимых в ящике-вагоне, узнаем героев предыдущих работ — пленных, лица которых

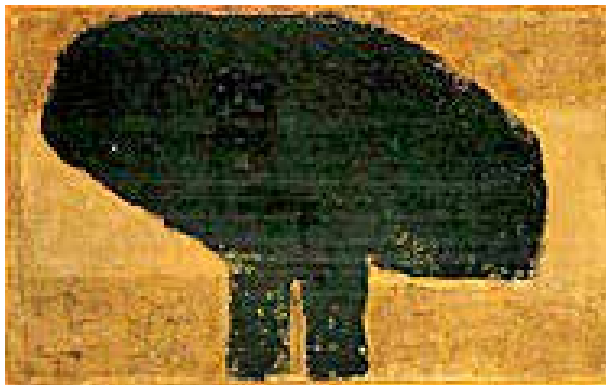


так же неотличимы друг от друга, как и камни. У пленных нет свободы выбора и воли. Они, как и камни, — строительный материал для чужого блага, чужого будущего. Кстати, в исторических местах памяти — бывших концлагерях Нойгамме и в Бухенвальде на месте бывших бараков по периметру фундамента огорожено пространство, в котором, как в большой клумбе, сложена галька. Очевидное сравнение гальки с узниками делает эту метафору универсальной.

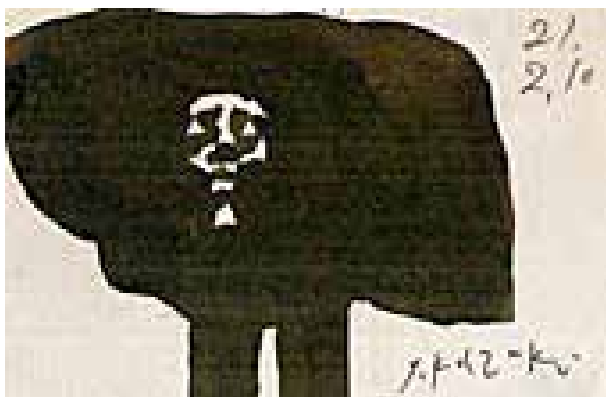


(рис. 100). Мы видим не коллектив, а именно толпу, в самой страшной ее форме, когда толпа направлена против одного на основе подозрений в идеологических разногласиях [Ооути: 145].

Примеры деперсонализации во множестве запечатлены Я. Казуки. Часто это серия похожих рисунков, которые имеют небольшие отличия, будто это эскизы к раскадровке анимационного фильма.



Вначале мы видим непонятный объект, то ли живое существо, то ли нет (рис. 101). По другим эскизам Я. Казуки понимаем, что это фигура носильщика, который несет на спине груз, по тяжести и размерам чрезмерный для одного человека, тем более физически ослабленного (рис. 102).



Первые три дня мы носили с начала до железной дороги 6 км на спине мешки с гаоляном или горохом. Мы шли по темной дороге под мокрым снегом. Чувство голода было сильным. Поэтому мы осторожно брели по скользкой дороге два — три часа. Если кто-нибудь падал, никто не мог ему помочь, каждый думал о себе. Несущий человек — уже не человек, это раб или транспортная машина [Казуки: 58].

Пока солдат остается в плену, у него нет личности. Я рисую

пленных с одним и тем же лицом. Я хочу рисовать не конкретного пленного, а пленного как такового [Казуки: 158].

Процесс деперсонализации японских военнопленных был начат задолго до плена, сразу после призыва в действующую армию. Солдат в армии был для других японцев образцом для подражания, так как все его тело, все его время и сама его жизнь принадлежали родине. В армии запрещалось произносить личное местоимение «я», вместо него военному следовало употреблять свои фамилию и звание, т.е. именовать себя так, как обращалось к нему армейское окружение. Таким образом, человек военный как бы смотрел на себя «со стороны», что предполагало лишение его прав собственности на себя и свое тело [Мещеряков 2012: 399].

Оказавшись в лагере, пленники продолжали называть друг друга *господин*, что выглядело протестом и против советского «товарищ», и в целом против общего процесса деперсонализации, напоминало о стандартах мирной жизни на родине и призывало сохранять достоинство.

Совершенно истощенные от тяжелого труда, мы очень уставали. Конвоиры торопили нас на обратном пути. Мы были как **пустые раковины, без души**. Наши горести были невероятно тяжелыми. Это был совершенно **бесчеловечный опыт**. Январь 1946 г. [Ёсида: 122].

Тяжелый труд, унижительные бытовые условия, отсутствие приватности и угнетающая атмосфера, насаждаемая активистами «демократического движения» в течение нескольких лет, не могли не отразиться на структуре личности пленного. Моя лучшая часть не вернулась из Сибири, — признавался Исихара (Barshay).

Регрессия к более примитивной структуре влечений отмечалась В. Франклом в сходных, доведенных до крайности условиях концлагеря. Именно такая деперсонализация человека в тяжелых природных и социальных условиях, практически на грани выживания позволяла ежедневно выполнять трудные работы (*подъем в 4 утра, выход на работу в 6, возвращались поздно*), при некачественной еде и жилье. В нечеловеческих условиях выполнять нечеловеческую работу люди не могли, не меняясь. Сохранить в душе что-то человеческое требовало особых усилий.

